

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ

Каждый год в сентябре в Ясной Поляне происходят Международные писательские встречи, приуроченные ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. В усадьбу Толстого съезжаются люди слова, чтобы говорить о том, что им кажется самым важным. Вот и мне в очередной раз довелось высказаться о наболевшем...

Что занимает мои мысли в последнее время – ширящийся разрыв между действительностью и словесностью, – между тем, как живет, и тем, что говорится. Наши нужды и наши надежды при переводе на язык массовой коммуникации обрастают риторикой как коростой – теряя прозрачность смысла вплоть до полной семантической непроницаемости. Образ жизни, как он репрезентируется в общественном сознании, не имеет в себе почти ничего из того, что происходит с людьми на самом деле.

В отечественной традиции особой семиотической зоной между сферами данного и должного была литература. По совокупности обстоятельств, прежней посреднической миссии она больше не исполняет. Отечественная классика, прежде представлявшая человека в мире, в наше время оказалась в книжной резервации.

Опосредующей средой стало телевидение, порождающее виртуальную реальность.

Человек как таковой, вне рефлексии над своим предназначением, исполняет свои социальные функции как будто под гипнозом, – не слишком соображая, что он делает в этом мире. Резоны здравого смысла отнесены в ведомство простых житейских навыков, а в сфере интеллекта довлеет идеология. Обыкновенному человеку хочется быть необыкновенным – как люди в телевизоре, герои нового времени, захватившие информационное пространство. Однако те медийные лица, которые внушают ему зависть, не люди, а покемоны в человеческом обличье.

Опасность забвения жизни существовала с тех пор, как самовластная мысль отделилась от непосредственного действия. Вот что писал Лев Толстой в итоговой книге «Путь жизни» о потере людьми внутреннего критерия своего существования: *Людям кажется, что жизнь их проходит во времени – в прошедшем и будущем. Но это только кажется: истинная жизнь человеческая не проходит во времени, а всегда есть в той безвременной точке, в которой прошедшее сходится с будущим и которую мы неправильно называем настоящим временем. В этой безвременной точке настоящего, и только в этой*

точке, человек свободен, и потому в настоящем, и только в настоящем, истинная жизнь человека. И далее: важна не длина жизни, а глубина ее. Смотритель сериалов уже не поймет, о чем речь.

Социальная совесть нации – ее словесность. Если словесность сводится к совокупности слов, чей смысл стерся от злоупотреблений, правда оказывается беззащитной перед ложью. Общество, в котором нет согласия в главном, обречено. Если деньги теряют материальное обеспечение, рушится экономика. Если слова утрачивают реальное значение, рушится семиотика.

У Дмитрия Быкова есть замечательное стихотворение, посвященное прощанию с «литературной Матёрой». Первым в ряду поверженных титанов духа стоит Толстой.

*Сдвинув брови, осунувшись даже,
С той тоскою, которой не стою,
Он стоит в среднерусском пейзаже
И под ручку с графиней Толстой,
И кричит нам в погибельной муке
Всею силой прощального взгляда:
– Ничему вас не выучил, суки,
И учил не тому, чему надо!*

А далее Тургенев и Чехов, Фет и Гоголь, в обнимку с Щедриным и с Достоевским, забыв все раздоры и разногласия, говорят о том, что они любили нас, и хотели удержать от худшего... но не удержали.

Михаил Салтыков-Щедрин, мастер злых сарказмов, в то же время крепко надеялся на здравый смысл повседневной жизни, держащейся старинных обычаев. К примеру, - ритуал чаепития: *Чай! Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, большая суматоха могла бы выйти!* Вот и накаркал. Увлеченные великими идеалами, маленькие люди, возмечтавшие за здорово живешь стать большими, потеряли вкус к простым радостям обыкновенной жизни – чаю с вареньем, дружеской беседе, неспешным прогулкам и медленному чтению. А из страстной полемики по поводу надлежащей жизни такая суматоха вышла, что вся жизнь вразброд пошла. Да так и не вернулась с тех пор в равновесное состояние. Все настолько заняты устройством жизни, что забыли, из чего она состоит.

Чтобы вернуть себе реальность, которую мы потеряли, все слова надо сказать заново, осознавая забытые в них смыслы. И заново про-

никнуться естественными чувствами, осязая простые вещи. Дом. Дверь. Окно. Цветы на подоконнике. Надежные стены дома. Фотографии на стене. Глубокоуважаемый шкаф с настоящими книгами. Обеденный стол. Чашка чая, согревающая застывшие пальцы и избытшее сердце.

1. ЧАЕПИТИЕ В ЖАНРЕ ИДИЛЛИИ

В иконографии Льва Николаевича Толстого одним из устойчивых сюжетов является групповая фотография – великий человек в кругу родных и близких. Контекстом мизансцены часто становится чаепитие. В обобщенном виде эту житейскую ситуацию лучше всего позиционировать в столовой яснополянского дома, где домашние и приезжие собраны к вечернему чаю: гений места в центре своего круга. Не случайно в экспозиционном комплексе семейного стола самовар становится семантическим акцентом.

Во всех сохранившихся снимках такого рода есть нечто общее. Прежде всего – внутреннее ощущение значительности события. *Светонись* еще кажется неким техническим чудом; идейным мессиджем каждого кадра становится переход из сиюминутности в вековечность. В момент запечатления никто не чувствует себя свободно. Напряженная Софья Андреевна на всех снимках старается выглядеть важной особой, и тем самым вызывает сомнения в своей аутентичности. Насупленный Лев Николаевич как будто ощущает на себе взгляд тех, кто будет впредь вглядываться в него, словно в некую диковину, и сердится, что вынужден терпеть наше любопытство. Прочие персонажи пребывают в некотором трансе, - отныне и присно их проблематичное существование получает историческое подтверждение. Наиболее достоверно на этих снимках смотрятся самовары.

Лев Николаевич не любил фотографию, делавшую людей заложниками видимости, – хотя, уступая домогательствам, фотографировался довольно часто. И не жаловал ни фонограф, ни кинематограф, без нужды усложнявшие уклад жизни, которой и так не доставало естественности. Впрочем, любое искусство, включая собственное, он, как религиозный экзистенциалист, признавал через диалектическое отрицание. Тем удивительнее, что в своем творчестве он как никто другой мог выразить ускользающую сущность человеческой участи – концентрируя мысль в слове, а жизнь в образе.

Камертоном этого эссе стала мизансцена из хрестоматийного текста, рассмотренная как метафора. Первый абзац II главы повести Льва Толстого «Детство» потрясает чуткого читателя концентрацией символического смысла в простой житейской картинке. *Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого...*

Если вывести визуальный образ из словесного контекста, из этого литературного артефакта можно вывести художественный метод отстраненной репрезентации: возьмем для примера мистическую эстетику Тарковского, консолидированную в фильме «Зеркало», или магическую поэтику Ольги Седаковой, концентрированную в стихах «Второй тетради». Вот чем завершается ее «Путешествие» –

*Каждый хочет, чтоб его узнали:
птицы бы к нему слетались,
умершие вставали живыми,
звери зверят приводили
и медленно катилось время,
как молния в раннем детстве.*

В этой стихотворной волшбе угадывается прикосновение к таинственной сути памяти, явленной в знаковом эпизоде толстовского «Детства». Истинное чудо метафизического видения – не остановленное мгновение, но бесконечно исчезающее, ускользающее к недостижимому пределу бытия. Словно во сне, как бы сбывающемся на грани пробуждения. Мистическая семиотика сновидения: минуя преграды рассудка, невысказанный смысл заполняет зияние в душе. Как будто в логической схеме критического разума происходит короткое замыкание времени...

В систематике психоанализа вода – символ бессознательного; в житейском обиходе чай – знаменатель обыденного. Скрытое содержание эпизода с пролитым чаем – предчувствие беды. Герой повести не знает того, что знает автор: в разрыве реального времени, озарившего сознание сполохом тьмы, тапан угадывает угрозу мирному течению своей жизни. Наваждение происходит, женщина спохватывается – и, как любезная хозяйка, раздает гостям чашки чая. Можно представить далее идиллическую картину вечернего чаепития, исполненную умиротворения.

Если конкретизировать этот житейский момент в культурной хронике века, для того времени, к которому относится данный эпизод, парадигматическим текстом окажется роман Александра Пушкина «Евгений Онегин», – и потому неслышным фоном описанного чаепития могут быть знаменитые стихи –

*Смеркалось; на столе блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал...*

В культурном контексте светского общества частная жизнь соразмерна общественной. Предусловленная гармония хорошо темпированного быта ни в чем не проявляется с такой непреложностью, как в неформальном ритуале неспешного чаепития. С пушкинским пассажем прямо и живо перекликается фрагмент толстовской повести «Семейное счастье»: *Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание при зеркале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне все казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: “Петру Ивановичу, Марье Миничне”, спрашивать: “сладко ли?” и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям.* Наверное, именно так начиналась семейная жизнь Толстых в Ясной Поляне – с оглядкой на устоявшуюся традицию.

Верность старинному чину является лучшей стороной житейской обыденности, свойственной усадебному быту. Ритуалу чаепития, как всякому обряду, присуща сакральная терапевтика, особенно действенная в культурной среде. В воспоминаниях Леонида Пастернака «Встречи с Толстым» вечеря в доме Толстых представляется как идиллия. *Всё, что в жизни и даже фантазии казалось несовместимым, мирно встречалось здесь за большим чайным столом. Такое соединение несоединимого возможно было лишь здесь. И оно даже имело*

свою кличку: *“Le style Tolstoi”* (стиль Толстого). Шел оживленный и непринужденный разговор. Смеялись, шутили, спорили. Слышался звон чашек и стаканов... Будь то в Ясной Поляне, Будь то в Хамовниках, необязательный разговор за чайным столом под магнетическим влиянием Толстого обретает значение античного симпозиума.

Свое пристрастие к чаю сам Лев Николаевич оговаривал особо: *Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души.* Поверим, что это сказано неспроста. Предположим, что в глубине души Льва Николаевича, на уровне символических ценностей, бережно хранится заветный момент истины – чудесное мгновение безмятежного бытия, в котором тамап разливает чай. Это непреходящее событие как бы свидетельствует о том, что в божьем мире ничто из того, что было, не перестает быть, и за пределами текущего времени нет ни печали, ни вздыхания. Обыденное действие, запечатленное в не вечернем свете, становится метафизическим явлением: чашка чая, налитая любящей матерью, в мифотворческих грезах выступает как неупиваемая чаша.

2. ЧАЕПИТИЕ В ЖАНРЕ ПАРОДИИ

Пастораль – идеальное состояние жизни: полное согласие должного с данным. Однако прелесть пасторали столь же чудесна, сколь иллюзорна. Недолговечность идиллии обусловлена логической невозможностью гомеостазиса в динамической среде; любое движение жизни внутри предустановленной гармонии ведет к разладу. Золотой век, обетованный и обретенный в анналах памяти, историческое время уступает злобе дня.

Критический идеализм, свойственный мировоззрению русской интеллигенции, по мере нарастания противоречий в общественном сознании разделялся в себе и впадал в опасные крайности: нигилизм и символизм. Нигилизм низводил символы до стимулов, а символизм возводил идеалы в идолы. Хоть так, хоть этак выходило худо. В кривых зеркалах декаданса образ жизни искажался до шаржа.

В смятении чувств потерянная душа обращается за поддержкой к прежним привычкам. Об этом хорошо сказано у Блока.

*Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давай-ка наколем лучины –
Раздуем себе самовар!
За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось, и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!*

О. это умение жить не спеша! утерянное искусство утраченного времени... Современность, стремящаяся подражать старине, впадает в пародию. Ностальгия в качестве идеологии все равно, что иллюзия в статусе мировоззрения...

В умозрительной схеме житейского счастья семейный стол – символический центр домашнего круга; вне его – окружающая действительность, в которой обыкновенная жизнь подвержена превратностям истории. Уходя из дома, волей или неволей, люди втягиваются в ход событий, и с течением времени пустое место в сумеречном сознании, предназначенное для смысла жизни, заполняет житейская суэта. В человеке, вовлеченном в борьбу за место в настоящем, утрачивается чувство самодостаточности – и с ним теряется ощущение сущности. Существование становится так ненадежно, что душевное равновесие кажется недостижимым состоянием, сродни райскому блаженству.

Разуверившись в возможности общего счастья, один неприятный персонаж Достоевского сузил сферу разума до размеров своего эго. *Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить...* Эгоцентрическая позиция подпольного человека, основанная на разумном эгоизме, доведенном до морального идиотизма, обретает характер безыдейной идеологии, овладевающей массами. В философии такая установка называется *солипсизм*, а в психологии – *эскапизм*. В любом случае – дезертирство из мира, чреватое предательством. Пока автономные субъекты свободной воли пьют свой чай, и стеклышки очков от горячего пара запотевают до полной непрозрачности, объективная реальность, оставленная без присмотра, претерпевает необратимые изменения...

Многие чуткие современники чувствовали холодок страха, сквозящий из темного будущего. И хотели обратно, в потерянную простоту.

Возврат к естественному состоянию предустановленной гармонии Лев Толстой определил как *опрощение*. Однако в поисках пути к себе Толстой проходит мимо главного: простота не достигается, а дается. Сущие вещи обнаруживаются в данной действительности, а не создаются из умозрительного материала. В своей антропологической отвлеченности *сокровенный человек* Толстого обратно пропорционален *подпольному человеку* Достоевского.

Согласно толстовскому учению, человек не может быть счастлив в одиночку. Когда в божьем мире властвует беда и правит неправда, быть благодушным – значит, быть жестокосердным. По умысленному убеждению радикального моралиста, все хорошее в себе надо жертвовать людям. Что характерно, эти еретические идеи, навлекшие на Толстого вражду светского общества, по сути своей были евангельскими заветами.

Агана, или *вечеря любви*, в первоначальном христианстве означала не что иное как совместную трапезу, в ходе которой наработывался опыт благорасположения к ближнему. Еда в этом ритуале была не главным элементом, – важнее еды была беседа; образно говоря, первым апостольским установлением стало вечернее чаепитие. В православном каноне центральным моментом религиозной жизни стала евхаристия. А долговое обязательство любви к ближнему потеряло сакральную директивность; по нашей грешной жизни следовать этой заповеди не так-то просто. Молиться нужно вместе, а питаться врозь. Толстой не мог принять это коренное противоречие в христианском учении, и не мог его разрешить. *Сейчас пришел голодный старик, которого я немножко люблю, и просит еды, которую я берегу на ужин любимым мной детям; как мне взвесить требования сейчасной менее сильной любви с будущими требованиями более сильной любви?* (трактат «О жизни»). Как ни старайся, а на весь мир пирога не испечешь, и вокруг одного самовара всех обездоленных не усадишь; обделив хлебом насущным своих домашних, накормишь немногих.

По мере того, как Лев Николаевич соблюдал христианские заповеди все строже и строже, жизнь в Ясной Поляне становилась все хуже и хуже. Софья Андреевна, говоря об упадке яснополянкой жизни, задним числом утверждала, – пока Левушка не увлекся своими странными идеями, они были счастливы. Когда же

теория правильной жизни стала претворяться в практику, все смешалось в доме Толстых. Праведность, в которой скрыта нарочитость, превращается в пошлость. Вот как описывает Александр Жиркевич, один из конфидентов Льва Толстого, вечерю в Ясной Поляне, имевшую место 20 декабря 1890 года. *На одном конце огромного обеденного стола обедала семья Толстого, а на другом Лев Николаевич, Марья Львовна и два толстовца. Нам лакей в белых перчатках подавал изысканные блюда. Стол был хорошо сервирован. Толстой же и его собеседники ели из общей чашки какую-то похлебку и у них не было даже скатерти. Для полноты художественного образа на аскетическом краю стола серебряному самовару надо бы противопоставить глиняный жбан с квасом, способствующим не столько процессу пищеварения, сколько процессу опрощения. Такая вот живая картина: аллегория, в которой морализаторство выглядит как фарисейство. Правота Софьи Андреевны очевиднее простоты Льва Николаевича, но духу эпохи дорог его протестный пафос.*

В этой сомнительной ситуации контраст добрых традиций и благих намерений проявляется как экзистенциальный конфликт. Больше того, – в коммуникативном пространстве единой социальной среды назревает эпистемологический кризис. Между двумя концами одного стола возникает зияние: разрыв реальности.

Чтобы подчеркнуть несуразность этого аллегорического застолья, можно провести аналогию с картиной безумного чаепития из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Непозволительно натягивая сравнение на описанную выше ситуацию, можно увидеть в Софье Андреевне, защищающей свое право быть барыней, взрослую Алису, подверженную прописной морали, – и тогда Лев Николаевич, приверженный странным идеям, предстанет Болванщиком, рассорившимся со своим временем.

Обобщая далее, можно рассматривать этот сюжет как философскую притчу; светская моралистка и мрачный резонер выступают в прениях как идейные антагонисты, ведущие борьбу за право определять критерии реальности. Алиса пытается выступать с позиции здравого смысла в мире, где правит абсурд, и потому, даже будучи правой, ей невозможно одержать победу. *Алиса растерялась. В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности*

и было понятно. Это межеумочное состояние философ Мишель Фуко назвал *эпистемологической неуверенностью*. С растерянности разума перед лицом абсурда начинается потерянности человека в мире. Чем и кончается безумное чаепитие: ничем. Идейным пафосом постмодерна является тотальный скепсис – пустой и мутный, как спитой чай.

В житейской истории российского разлада самовар выступает экзистенциалом идейного пораженчества. Особенно много чая пьют неприкаянные персонажи Чехова, – с большим или меньшим успехом заполняя чаепитием пустоты в существовании. В пределе обыденности житейская скука выступает как альтернатива смертельной тоске. *Замечательный день! То ли чаю выпить, то ли повеситься...* В этой беспризорной фразе (у Чехова ее нет) предельно выражен пафос декаданса: существование как проблема выбора между тщетой и утратой. Порой этот выбор истощает душу до донышка. По воспоминаниям Александра Навроцкого, юриста и журналиста, Лев Николаевич, показывая крюк в потолке кабинета, говорил: – *Знаете ли, я все эти дни думаю о том, не надо ли повеситься вот на этом самом крюке. Я уже один раз чуть было не повесился.* Слава Богу, что ни в тот раз, ни в другой Толстой не захотел отказаться от чая...

Так же, как Блок. Вот характерная фраза из его письма Сергею Соловьеву (январь 1905 года), написанного после прочтения повести Леонида Андреева «Красный смех», живописующей ужасы русско-японской войны, в которой страна терпела поражение. *Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай.* А потом писал письма, в которых жаловался на окружающую пошлость. И стихи, в которые изливал *сладкую боль*. И хорошо делал. Как могла бы сказать его *татап*, – чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось...

Сакраментальная дилемма декаданса отзовется пародийной репризой в рассказе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Весельчак»: – *Хочешь чаю, Никанор? – предложил хозяин. – Нет, спасибо, я уже отчаялся.* Мещане советского разлива, вышедшие из разочарованных разночинцев, внесли свои коррективы в правила чайной церемонии; для посиделок двадцатого века *чай без водки – сукин сын*. Впрочем, и чеховские интеллигенты уже употребляли водочку в каче-

стве народного средства от грустных мыслей. Накануне апокалипсиса чай уже не помогал от злой тоски.

В пьесе «Три сестры», написанной на рубеже XX века, самовар становится катализатором идейного конфликта; когда Чебутыкин вздумал подарить Ирине серебряный самовар, в доме Прозоровых этот щедрый дар вызывает *гул изумления и недовольства*: – *Самовар! Это ужасно!* Самовар для прогрессивной среды – генератор провинциального уклада жизни: банального быта, отчужденного от бытия. Русская интеллигенция самозабвенно грезилась о другой жизни...

За что боролись радикальные идеалисты, на то и напоролись. Другая жизнь настала, – и застала всех врасплох. По слову Андрея Платонова, – *Вся Россия населена гибнущими и спасающимися людьми*. Кипяток из вокзального титана льется в нечистые кружки, зажатые в немых руках... голод и холод, тоска и мука, страх господень и злоба людская; одним словом – революция. Революция как черная дыра в истории, в которую провалился старый мир, где можно было самому делать выбор – пить чай с вареньем или повеситься на потолочном крюке. Новое время ограничило условия жизни строгим режимом и расширило масштабы смерти до массовых репрессий. Все познается в сравнении; утраченное время кажется потерянной возможностью счастья.

Ромен Гари, французский писатель русского происхождения, в воспоминаниях о детстве описывает серебряный самовар, который его мать, не слишком известная актриса, вывезла из революционной России и сохранила в эмиграции – как залог того, что счастье на земле все-таки возможно. Наверное, ужаленный той же ностальгической пчелой, великий комбинатор Остап Бендер украл золоченое ситечко с чайного стола в салоне мадам Грицацуевой – заболоченной заводи старорежимного быта в провинциальной старице ушедшей жизни.

3. ЧАЕПИТИЕ В ЖАНРЕ УТОПИИ

Вернемся, однако, к основной теме. Когда мы говорим о наболевшем, рассматривая сущие вещи в свете толстовского явления, – ответственность, которую мы берем на себя, повышает удельный вес каждого слова, – и оттого возникает ощущение, что все, что сказано по существу, сказано не напрасно. И очень часто

приходит в голову мысль о том, что формат яснополянских встреч идеально подошел бы для решения насущных проблем иного рода. А именно – коренных вопросов человеческого существования. Собрать бы здесь тех, от кого зависит ход исторических событий, и усадить за один стол. В порядке исключения из музейных правил – вокруг толстовского самовара. Хорошо бы! жаль, что эта виртуальная возможность не выдерживает проверки на реальность.

Когда началась Первая мировая война, Томас Манн сказал: будь жив Толстой, это не могло бы, не посмело бы произойти... Представим себе, что Толстой отложил свой уход из грешного мира, и летом 1914 года в Ясной Поляне по его приглашению встречаются император Николай II, кайзер Вильгельм II, король Георг V и президент Пуанкаре. Те, в чьих руках судьбы мира, пьют на лужайке вечерний чай с крыжовенным вареньем по рецепту Софьи Андреевны, вполглаза смотрят, как заходящее солнце покрывает медной полудой нижний край неба, вполуха слушают, как тихий ветер шуршит в веймутовой сосне, устраиваясь на ночь, – и неторопливо беседуют со Львом Николаевичем о смысле жизни... Конечно, вряд ли они пришли бы к единому мнению о том, чем люди живы, а все же начинать мировую войну после такого разговора было бы просто неприлично.

Но Толстой ушел до урочного часа, потеряв надежду обрести мир в Ясной Поляне, а тем более образумить безрассудное человечество, – и скоро все в мире пошло наперекосяк. Могло ли быть иначе? Может ли быть иначе впредь? История не имеет сослагательного наклонения, зато относительно актуальной действительности можно и нужно иметь разумные намерения и предпринимать полезные действия.

Ровно год назад на веранде яснополянского дома состоялось чаепитие с участием президента Владимира Путина и губернатора Алексея Дюмина; это камерное мероприятие стало важным событием, имевшим благоприятные последствия. Может, стоит продолжить традицию, – чтобы сакральное пространство, в котором незримо присутствует дух Толстого, стало местом согласия государственных и общественных деятелей о будущем страны?

Увлеченный игрой воображения, я представляю удивительную коллизию: в один из грядущих дней в Ясной Поляне собирается симпозиум по обсуждению наболевших проблем нашего

времени. Как говорит брат Лоренцо в эпилоге шекспировской трагедии, – *чтоб осудить себя и оправдать*. Однако тут же встает сакраментальный вопрос из грибоедовской комедии, – *а судьба кто?* На правах автора этого утопического проекта, чувствуя недостаток конкретности в своей фантазии, я снижаю уровень прений до текущей повестки дня и сужаю круг действующих лиц до особо важных персон нашего информационного общества. И сразу же осознаю наивность и напрасность своего предложения. В лидерах общественного мнения оказываются медийные идолы, – люди вроде бы реальные, но не вполне релевантные. Что я имею в виду, поясню далее.

Многие из действующих лиц в спектакле нашей общественной жизни вызывают сомнения в своей адекватности. К примеру, вызывают массу сомнений такие персонажи как авторитарный популист Владимир Жириновский или православный коммунист Геннадий Зюганов, эффективный менеджер Анатолий Чубайс или креативный губернатор Вадим Потомский, юродствующий литератор Александр Проханов или театральные провокатор Кирилл Серебряников – *и т.д., и т.п.* Таких нарочитых персонажей не выдержит ни один сюжет, отвечающий критериям реализма. Есть подозрение, что это всего лишь риторические фигуры, посредством информационных технологий позиционированные в общественном сознании как гротескные образы, – и в этом плане имеющие типологическое сходство с персонажами «Мертвых душ». Их совместными усилиями драма истории повторяется как фарс. То, что принято называть виртуальной реальностью, вытесняет и замещает в нашем менталитете разумную действительность.

Наверное, сто лет назад, в канун великого исторического потрясения, когда декаданс мутил общественное сознание опасными грезами, в духе эпохи было нечто подобное нынешнему сумеречному состоянию. Лучшие люди теряли надежды на будущее – и не находили себе места в настоящем. Уход Толстого из Ясной Поляны, из круга света и домашнего тепла, от полки с книгами и стола с самоваром, в бесконечную тоску отказа и безнадежную пустоту смерти был знаменем и предвестием гибели старого мира, потерявшего ментальную опору в сознании современников.

Непризнанный гений русского экзистенциализма Василий Розанов, имея ум пронзительный и прозорливый, хорошо понимал, чем кончается русский бунт против действительности, бессмысленный и беспощадный, и потому пуще государственной самодержавности страшился общественной дееспособности, оторванной от действительности. – *“Что делать?” – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – Как что делать: если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если зима – пить с этим вареньем чай.* Эта прописная мораль обывательского благоденствия отложилась в записи 1918 года, когда старый мир рухнул на головы подпольных людей, и не осталось в стране укромного места, где можно было бы накрыть чайный стол... да и чая, кроме пайкового морковного суррогата, на их долю не осталось.

Век спустя в совсем других исторических обстоятельствах страна вынуждена заново искать консенсус между возможностями национального существования и потребностями обывательской жизни. Получается не очень. Власти предрешающие имеют в себе мало человечности, а простые обыватели не видят своего резона в приватизированной власти.

Эксцентрики и эгоцентрики, потерявшие веру в социальную справедливость, становятся подпольными людьми. Нечто в этом роде происходит с нашими современниками. Обустроившись на обочине истории, мы ничтоже сумняшеся полагаем, что наша хата с краю, и в случае геополитического землетрясения сейсмическая волна не дойдет до порога нашего дома: мир провалится, полностью или частично, а мы будем пить свой чай и смотреть по телевизору репортаж из эпицентра Апокалипсиса. Как бы не так. Да, пока над нами не каплет; стол накрыт чистой скатертью, крыжовенное варенье разлито по розеткам; из фарфорового чайника струится пряный аромат цейлонского чая... но в пустом стакане с подстаканником без видимых причин тревожно звякает серебряная ложечка. Что-то случится...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если в порядке обобщения вернуть разбежавшиеся мысли к основной теме, на месте вывода можно сформулировать нечто вроде моралите.

Чтобы на нашем веку не случилось непоправимого, в общественном сознании нужно перезагрузить базовую программу социального

устройства. Главная задача государственной идеологии, если речь идет о национальной идее, не единомыслие, а согласие в главном. А надежное согласие, согласно завету Тютчева, может быть только сердечным. Прежде чем обрести умозрительный государственный идеал, человек должен обустроиться в обывательской жизни. Усвоить порядок простых вещей, лежащий в основе человеческой участи. Познать в жизненном опыте все впечатленья бытия – прелесть соблазна и тяжесть отказа, горечь утраты и сладость свободы, роскошь отрешения и щедрость общения, трудность обретения и радость дарения. Все то, что невозможно купить за деньги и нельзя найти по интернету. В школе жизни самое главное – не формирование принципов, а воспитание чувств; нравственное поведение, как ни суди, обусловлено не моральными догмами, а добрыми нравами. В этом заветном обетовании сходятся благая весть и житейская мудрость. В неуклонном стремлении к разумному, доброму, вечному проявляется гуманистический пафос русской литературы. И все в современной словесности, что стоит издания и прочтения, в общем и целом направлено на поддержание этой великой традиции.

В центре российской картины мира, как она видится с точки зрения вечности, Золотой век русской литературы – от Пушкина, Лермонтова и Гоголя до Тургенева, Толстого и Достоевского. А вокруг этого символического стержня концентрическими кругами, словно годовые кольца в стволе дерева, нарастают новые времена. Во всем многообразии непоправимой и неповторимой жизни, осмысленной современниками в разных жанрах – пасторали, пародии, утопии. Ничто в нашем сознании, обусловленном окружающей действительностью, не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Поэтому нашему критическому разуму так важно верить, что при всех экзистенциальных издержках, свойственных всем способам человеческого существования, донныне испытанным историей, наше время имеет свой смысл. Это и есть критический реализм: восприятие реальности в двух неразрывных и несовместных ракурсах – недостижимого предела и неотвратимого удела человеческой жизни. В этом плане его потенциал неисчерпаем. Прощание с русской литературой следует считать преждевременным.

БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ НАКАНУНЕ КОНЦА СВЕТА

умозрительный гротеск

Стараясь разобраться в том, как соотносятся в человеческой личности *особость* и *общность*, несколько лет назад я сочинил эссе, в котором ничтоже сумняшеся разделил людей на *отдельных* и *совместных*; в образном выражении – на ценителей чая и любителей водки. Мессиджем текста стала прописная истина – *Жизнь равно трагична для тех и других: все в свой срок умирают, – если не гибнут раньше времени без надежды и опоры... Пусть же каждый живет как может, – лишь бы себе на пользу и ближнему не во вред. И чем больше людей пребудет в согласии с собой, тем ближе будет общественное согласие.*¹

Эссе до сих пор кажется мне стоящим внимания, – спорным в суждениях, но верным в выводах. Прошли годы, заметно изменились некоторые параметры окружающей действительности: усилились государственное давление, церковное влияние и патриотическое воспитание, – а вот нравственное напряжение в общем и целом ослабло. Мира на земле больше не стало, и в человеках благоволения не прибавилось. Настоящее кажется настолько ненадежным, прошлое непостижимым, а будущее недостижимым, что люди, живущие в этом веке, в недобрый час могут стать последними людьми.

Вопрос об отношении общего блага и личного интереса становится камнем преткновения на пути к общественному согласию. Как разделить между гражданами бремя государства и как распределить его выгоды – вот вечная проблема социальности, которая нигде и никогда еще не была решена к полному удовлетворению всех и каждого. Не надеясь на справедливость в этой жизни, простые люди, в зависимости от человеческих качеств, впадают в пошлость или в подлость.

Трудный вопрос взаимоотношения субъекта и объекта (себя и всего остального) один неприятный персонаж Достоевского ставил и решал таким радикальным образом –

Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить... Человек может нарочно,

*сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего... и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного... дважды два четыре – превосходная вещь; но... и дважды два пять – премилая иногда вещьца.*²

Эгоцентрическая позиция подпольного человека, основанная на разумном эгоизме, доведенном до сознательного идиотизма, с течением исторического времени обретает ментальное основание в идеологии неолиберализма. В наше сумасбродное время желание вредного и глупого становится легальным и легитимным; в современном обществе, в котором последовательно проводится в жизнь принцип политкорректности, безумие, на радость всем безрассудным представителям рода человеческого, получает равные права с благоразумием. Нужны пояснения? Извольте. Если рассуждать здраво, разве узаконенное право мужчины полагать себя женщиной (и наоборот) по сути своей не осуществление вековых чаяний подпольных людей, ныне вышедших из тьмы на свет – и ставших законодателями идейных трендов?

Жизнь несоизмеримо сложнее, чем всё, что могут сообща надумать о ней все живущие. А люди устроены намного сложнее, чем нужно было бы для их успешного социального функционирования. Отчего психические механизмы индивидов, используемых не по назначению, часто выходят из строя. Кого ни возьми...

Вот, взять хотя бы широко известного в узких кругах питерского андеграунда художника Леона Богданова (1942 – 1987). Как многие из тех, кого черт догадал родиться в России с умом и талантом, он не сумел найти применения ни тому, ни другому; днем заливал беспредметную тревогу крепким алкоголем, а ночью отпаивал бесцельную тоску терпким чаем. Его записки из подполья, изданные посмертно, пропитаны сумрачной аурой экзистенциального истощения, собственного человеку эпохи застоя – *Пусть говорят, что я художник чая и его принадлежностей, живописавший в тревожный век успокоение чайных обрядов и церемоний, любивший только предметы, имеющие отношение к чаю, хотя бы и не прямое, как алкоголь и фрукты, книги и курево... огонь и хлеб или, наконец, облака, озаренные не вечерним светом.*³

¹ Владимир Ермаков «Человек чая и люди водки».

² Федор Достоевский «Записки из подполья».

³ Леон Богданов «Заметки о чаепитии и землетрясениях».

Что поразительно в его дневнике, – животрепещущее переживание землетрясений, сотрясающих края земного шара, и мучительное предчувствие множественных катастроф, которыми оборачиваются своекорыстные расчеты сильных мира сего, не обремененных нравственной ответственностью за то, что мир может провалиться, пока они пьют свой чай... или что они пьют на своих саммитах.

Концентрированным выражением экзистенциального застоя, свойственного потребительскому обществу, является ироническая идиллия, изображенная в гротескной сказке о приключениях Алисы в Стране чудес, в главе «Безумное чаепитие» –

*Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай Мартовский Заяц и Безумный Шляпник; между ними крепко спала Мышь-Соня...*⁴

За сказочным столом, где хватает всего, кроме смысла, водворилась скука, производящая взаимное раздражение. И надежд на перемены нет: пасторальное пространство лишено четвертого измерения; утраченное время намертво застыло в шестеренках часов: вот уж воистину – застой!

В экранизации Тима Бертона сюжет Льюиса Кэрролла искажен, но мессидж сохранен – фильм возводит бессмыслицу в статус смысла. За чайным столом режиссер собрал большинство персонажей, включая Чеширского Кота. Отчего неразберихи стало на порядок больше. Почему-то этот эпизод фильма мне напомнил телевизионный репортаж о заседании кабинета министров, где облеченные всей полнотой власти ответственные лица планируют темпы экономического роста из расчета, что баррель нефти будет стоить дороже золота, а дважды два на бирже будет равняться числу π (примерно 3, 14). Над этим уравнением мнимых величин, словно иррациональный коэффициент, чудится циничная ухмылка, неуловимо похожая на усмешку безвременно ушедшего премьера: *хотели как лучше, а получилось как всегда...* Видимо, как было всегда, так будет и впредь. Вплоть до самого конца. До конца истории. Когда бы он ни случился. Каким бы он ни был.

Увлеченный течением мысли, на пересечении темы безумного чаепития с темой конца истории я представляю умозрительную иллюзию:

⁴ Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес».

в виртуальном вертограде за круглым столом собирается симпозиум по обсуждению насущных вопросов существования. Этот воображаемый круг мнений подобен сфере Паскаля: центр его везде, а поверхность нигде. Попробуем вообразить, что в дружеской беседе за чашкой чая заинтересованными лицами решается судьба человечества.

Итак, в рамках утопического представления в центре цивилизованного мира заседает полномочная комиссия по достижению общего согласия. Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний! Кто из собранных в сюжет персонажей существует на самом деле, а кто является лишь плодом воображения, в философском плане значения не имеет: архетипы в большей мере властвуют над менталитетом, чем авторитеты. Особенно на уровне мотивации. В той же мере, в какой мировые лидеры основным фактором истории считают государственные интересы, мириады имярек полагают необходимым и достаточным основанием мирового порядка собственное благополучие. Чтобы им свой чай пить всегда, а другим как придется...

Об этом и речь: никогда не согласие, всегда разногослье. Говоря об общем, каждый имеет в виду свое. Именно поэтому нет общего смысла в бесполом разговоре Безумного Шляпника и Мартовского Зайца – через голову задремавшей Мыши. О чем будут говорить другие странные персонажи, волей автора сведенные в одну фантастическую ситуацию? В своем воображении я вижу, как великий комбинатор Остап Бендер через золоченое ситечко наливает чай матерому белогвардейцу капитану Мышлаевскому, который деликатно выражает свое недовольство привычной присказкой: *чай не водка, много не выпьешь...* Рядом благородный самурай Сен-но Рикю, мастер чайной церемонии, пребывающий в шоке: такого бесцеремонного поведения он не ожидал даже от европейских варваров; наверное, сэнсэй совершил бы харакири (ему не привыкать), если бы рядом не оказался печальный поэт Александр Блок, уговоривший соседа выпить еще по чашке, – *За верность старинному чину! // За то, чтобы жить не спеша! // Авось, и распарит кручину // Хлебнувшая чаю душа! А по горизонту картины мира сгущается тьма – то ли ночь надвигается, то ли конец света начинается...*

Не знаю, как другие, а я, представляя себе возможность оказаться в такой компании, чувствую себя слишком нормальным, и потому – неуместным. Хотя не настолько чужим, как, скажем, на заседании Общественной палаты, где собираются персонажи столь же надуманные, только совсем уж невнятные – вроде есаулов потешного войска, увешанных наградами за верность своей фанаберии. Однако как автор данной фантазматории я все же вправе присутствовать на этом невероятном мероприятии, - хотя бы в виде Чеширского Кота, оставившего в качестве экзистенциала к сказочному сюжету ироническую улыбку... типа *смайлика* :)

Опять же на правах автора, чувствуя недостаток актуальности в своей фантазии, я расширяю круг участников за счет введения героев нашего времени, - людей как бы реальных, но не вполне релевантных. Есть подозрение, что это всего лишь риторические фигуры, посредством информационных технологий позиционированные в общественном сознании как герои нашего времени, – и в этом плане имеющие типологическое сходство с литературными персонажами вроде харизматического афериста Бендера и примитивного супермена Бэтмена, злого пирата Бармалея и доброго людоеда Шрека. Что общего у всех этих, уклончиво говоря, нестандартных деятелей, идущих каждый своим путем – несогласие с тем, что дважды два четыре, в то время как им хочется, чтобы в итоге выходило то три, то пять, а то вообще восемь с половиной.

Ну так вот... представьте себе, что в прениях за круглым столом решается гамлетовский вопрос: *быть или не быть?* И если все-таки быть, то *как быть и что делать?* Вероятность того, что столь несовместные персонажи смогут найти консенсус, стремится к нулю. Если на голосование будут вынесены альтернативные проекты резолюций, подготовленных, скажем, аналитиками Бармалея и экспертами Шрека, опирающимися на социологические опросы, проведенные среди своих людей, и секретные доклады, подготовленные по материалам интернета, будущее окажется таким же проблематичным, как прошлое, и столь же сомнительным, как настоящее.

Однако – заговорился... то есть – записался; чай совсем остыл, – остыл и пафос. В завершение текста хочется поставить нечто жизнеутверждающее, – поскольку гротескное в словесности для того и надобно, чтобы мы, доказав свою разумность методом от обратного, могли с чистым

сердцем и легкой душой признать обыденное и принять повседневное. В самом деле, – стоит ли зря расстраиваться из-за обыкновенных безобразий? Все познается в сравнении. Не дай бог, конечно, но может стать так, что те драматические факторы нашей жизни, на которые мы сегодня реагируем невралгически, завтра будем вспоминать ностальгически.

Прогноз катастрофического развития событий становится тем более вероятным, чем менее обязательным в расчетах на будущее становится утверждение *дважды два четыре*. Вопреки всякой социальной логике, все больше подпольных людей, вышедших из сферы умолчания в информационное поле, оказывается во главе общественных движений и политических партий – чтобы всей силой своего хотения, не связанного резонами здравого смысла, желать вредного и глупого... ладно бы – для себя, но то и худо, что для нас всех.

Русское эсхатологическое сознание доминировано готовностью принять любую участь, предназначенную человеческому роду божьим промыслом. Главной чертой национального характера является верность долгу: *помирать собирайся, а рожь сей*. А в конце последнего дня, честно исполнив работу жизни, хорошо бы всем миром собраться за одним самоваром, чтобы завести душевный разговор о том, как будем жить после конца света.

ЧАЕПИТИЕ С ДОСТОЕВСКИМ *вторая редакция*

*Нет, широк человек,
слишком даже широк,
я бы сузил.*

Иван Карамазов

Горит голубоватый венчик газа...
Мерцает телевизор... Мир, уют.
Ворчит, но поглощает, что дают
сговорчивая глотка унитаза.
Тепло, светло – и чайник закипает.
Какого же рожна мне не хватает?
Какого чёрта нарываюсь я
подглядывать в подвале бытия?

Моральный пыл, накопленный веками,
доселе не сгустился в благодать:

земным страданиям края не видать...
а вечность – словно банька с пауками.
Цель жизни, если есть, недостижима;
весь мир – барак особого режима:
дежурный ангел выжил из ума
и раздаёт надежды задарма.

А чтобы вера не казалась мёдом
и не ввела в блаженство невзначай,
недаром пил ночами чёрный чай
игрок, пророк и эпилептик Фёдор
Михайлович – как Вий, поднявший веки,
он выглядел такое в человеке,
что моралисты впали в немоту:
ни спорить, ни признать неспособоту.

Всему ли миру разом провалиться
или не пить мне чаю? – вот вопрос,
который из ухмылочки возрос
и как духовный кризис присно длится.
По существу вопрос нерелевантен:
здесь Гегель спотыкается на Канте,
и прав прагматик, споры прекратив, -
категоричен, как императив.

Однако – чай... беспечно и безгрешно,
душе во благо, терпкий и густой
почти красно-коричневый настой
тянуть неспешно – и смотреть небрежно
программу «Вести»... катастрофы, кражи,
насилия... а после репортажей
ток-шоу; тема – как любить козла,
чтобы из любви такой не вышло зла.

Быть может, это подсознание массы? –
живая тьма, в которой скрыт свет...
но я хотел бы возвратить билет
в утопию, не отходя от кассы;
евклидов ум, рассчитывая дело,
эпоху режет по живому телу –
наводит морок и наводит страх...
и, одержав победу, терпит крах.

Развитие проходит по спирали:
история свершает поворот,
и снова люди строятся в народ...
Соборный дух дыхание спирит;
соратники, прикованы друг к другу,
идут вперёд... по замкнутому кругу;

перед началом нового витка
всем пайка хлеба, кружка кипятка...

Ну нет! меня не выманишь из дома,
когда народ сбивается в толпу;
единой пяди не отдам во лбу!
Я пью свой чай... но идеал Содома,
расписанный по лозунгам и фразам,
стоит передо мной, смущая разум:
Христос нас чистой истине учил,
но Оккам, сволочь, бритву наточил

и все, что в разум не вошло, отрезал –
отрезал от закона благодать,
и, значит, счастья людям не видать...
оставь надежду, рассуждая трезво.
Всей тяжестью минувшего раздавлен
кончается наш век среди развалин
социализма... поднимает вой
лишенный пайки пёс сторожевой.

Утопия уходит, хлопнув дверью,
а мир не изменился ни черта.
Я Канту верю (хоть его читал
с сомнением), а Гегелю не верю;
ведь каждый человек живёт как может,
и каждого своя забота гложет;
и завтра будет то же, что вчера:
нужда, надежда, страх et cetera.

Мир снова устоял, а чай остыл.
И закипает возмущённый разум:
доколе всяким умственным заразам
вводить нас в грех, и, разлагая тыл,
угарный эрос называть любовью?!
доколе длиться в нас средневековью?!
я оставляю возглас на лету
и снова ставлю чайник на плиту.

История запуталась, и узел
затянут до конца календаря.
Наверно, прав разумник, говоря,
что человек широк, и он бы сузил...
Но – как сужать? Вопрос неразрешимый, –
ведь каждый мерит всех своим аршином
и продает излишки ни за грош...

А чай хорош! Воистину – хорош.